

В. Г. Короленко

Антон Павлович Чехов

I

С Чеховым я познакомился в 1886 или в начале 1887 года (теперь точно не помню). В то время он успел издать два сборника своих рассказов. Первый, который я видел в одно из своих посещений на столе у Чехова, назывался "Сказки Мельпомены" и, кажется, составлял издание какого-то юмористического журнала. Самая внешность его носила отпечаток, присущий нашей юмористической прессе. На обложке стояло: "А. Чехонте" и был изображен мольберт, а перед ним -- карикатурная фигура длинноволосого художника. Если память мне не изменяет, виньетку эту рисовал брат Антона Павловича, художник, умерший в самом конце восьмидесятых или начале девяностых годов, человек, как говорили, очень талантливый, но неудачник... Эту первую книжку Чехова мало заметили в публике, и теперь редко кто ее, вероятно, помнит. Но некоторые (кажется, не все) рассказы из нее вошли в последующие издания.

Затем, помнится, в начале 1887 года появилась уже более объемистая книга "Пестрых рассказов", печатавшихся в "Будильнике", "Стрекозе", "Осколках" и на этот раз подписанных уже фамилией А. П. Чехова. Эта книга была замечена сразу широкой читающей публикой. О ней начали писать и говорить. Писали и говорили разное, но много, и в общем это был большой успех. В газетных некрологах и заметках упоминается о том, будто А. С. Суворин первый рассмотрел среди ворохов нашего тусклого российского "юмора" неподдельные жемчужины чеховского таланта. Это, кажется, неверно. Первый обратил на них внимание Д. В. Григорович. Как кажется, он оценил эти самородные блески еще тогда, когда они были разбросаны на страницах юмористических журналов или, быть может, по первому сборнику "А. Чехонте". Кажется, Григорович же устроил издание "Пестрых рассказов", и едва ли не от него узнал о Чехове Суворин, который и пригласил его работать в "Новом времени". В первые же свидания мои с Чеховым Антон Павлович показывал мне письма Григоровича. Одно из них было написано из-за границы. Григорович писал о тоске, которую он испытывает в своем курорте, о болезни, о предчувствии близкой смерти. Чехов, [показывая] мне и это письмо, прибавил:

-- Да, вот вам и известность, и карьера, и большие гонорары...

Эта пессимистическая нотка показалась мне тогда случайной в устах веселого автора веселых рассказов, перед которым жизнь только еще открывала свои заманчивые дали... Но впоследствии я часто вспоминал эти слова, и они уже не казались мне случайными...

После выхода в свет "Пестрых рассказов" имя Антона Павловича Чехова сразу стало известным, хотя оценка нового дарования вызывала разноречие и споры. Вся книга, проникнутая еще какой-то юношеской беззаботностью и, пожалуй, несколько легким отношением к жизни и к литературе, сверкала юмором, весельем, часто неподдельным остроумием и необыкновенной сжатостью и силой изображения. А нотки задумчивости, лиризма и особенной, только Чехову свойственной печали, уже прокрадывавшиеся кое-где сквозь яркую смешливость,-- еще более оттеняли молодое веселье этих действительно "пестрых" рассказов.

II

В то время в Петербурге издавался журнал "Северный вестник". Издательницей его была А. М. Евреинова, редакция (первоначальная) составила из бывших сотрудников "Отечественных записок". Во главе ее стоял Ник. Конст. Михайловский, близкое участие принимал Глеб Ив. Успенский и С. Н. Южак, а в редактировании беллетристического и стихотворного отдела участвовал А. Н. Плещеев... Меня приглашали тоже ближе примкнуть к этому журналу, и я ехал в Петербург между прочим и по этому поводу. В то время я уже прочитал рассказы Чехова, и мне захотелось проездом через Москву познакомиться с их автором.

В те годы семья Чеховых жила на Садовой, в Кудрине, в небольшом красном уютном домике, какие, кажется, можно встретить только еще в Москве. Это был каменный особнячок, примыкавший к большому дому, но сам составлявший одну квартиру в два этажа. Внизу меня встретили сестра Чехова и младший брат, Михаил Павлович, тогда еще студент. А через несколько минут по лестнице сверху спустился и Антон Павлович.

Передо мною был молодой и еще более моложавый на вид человек, несколько выше среднего роста, с продолговатым, правильным и чистым лицом, не утратившим еще характерных юношеских очертаний. В этом лице было что-то своеобразное, что я не мог определить сразу и что впоследствии, по-моему очень метко, определила моя жена, тоже познакомившаяся с Чеховым. По ее мнению, в лице Чехова, несмотря на его несомненную интеллигентность, была какая-то складка, напоминавшая простодушного деревенского парня. И это было особенно привлекательно. Даже глаза Чехова, голубые, лучистые и глубокие, светились одновременно мыслью и какой-то, почти детской, непосредственностью. Простота всех движений, приемов и речи была господствующей чертой во всей его фигуре, как и в его писаниях. Вообще, в это первое свидание Чехов произвел на меня впечатление человека глубоко жизнерадостного. Казалось, из глаз его струится неисчерпаемый источник остроумия и непосредственного веселья, которым были переполнены его рассказы. И вместе угадывалось что-то более глубокое, чему еще предстоит развернуться, и развернуться в хорошую сторону. Общее впечатление было цельное и обаятельное, несмотря на то, что я сочувствовал далеко не всему, что было написано Чеховым. Но даже и его тогдашняя "свобода, от партий", казалось мне, имеет свою хорошую сторону. Русская жизнь закончила с грехом пополам один из своих коротких циклов, по обыкновению не разрешившийся во что-нибудь реальное, и в воздухе чувствовалась необходимость некоторого "пересмотра", чтобы пуститься в путь дальнейшей борьбы и дальнейших исканий. И поэтому самая свобода Чехова от партий данной минуты, при наличии большого таланта и большой искренности,-- казалась мне тогда некоторым преимуществом. Все равно, думал я, -- это не надолго... Среди его рассказов был один (кажется, озаглавленный "По пути"): где-то на почтовой станции встречаются неудовлетворенная молодая женщина и скитающийся по свету тоже неудовлетворенный, сильно избитый жизнью, русский "искатель" лучшего. Тип был только намечен, но он изумительно напомнил мне одного из значительных людей, с которым сталкивала меня судьба. И я был поражен, как этот беззаботный молодой писатель сумел мимоходом, без опыта, какой-то отгадкой непосредственного таланта так верно и так метко затронуть самые интимные струны этого, все еще не умершего у нас, долговечного рудинского типа... И мне Чехов казался молодым дубком, пускающим ростки в разные стороны, еще коряво и порой как-то бесформенно, но в котором уже угадывается крепость и цельная красота будущего могучего роста.

Когда в Петербурге я рассказал в кружке "Северного вестника" о своем посещении Чехова и о впечатлении, которое он на меня произвел,-- это вызвало много разговоров. Талант Чехова признавали все единогласно, но к тому, на что он направит еще не определившуюся большую силу,-- относились с некоторым сомнением. Отношение к Чехову Михайловского читателям известно: он часто и с большим интересом возвращался к его работам, признавал огромные размеры его таланта, но тем суровее отмечал некоторые черты, в которых видел неправильное отношение к литературе и ее назначению. Ни о ком, однако, из сверстников Михайловский не писал так много, как о Чехове, а в последние годы, как это тоже известно, он относился к Чехову с большой симпатией... Во всяком случае, в то время, о котором я рассказываю, "Северный вестник" Михайловского хотел бы видеть Чехова в своей среде, и мне пришлось выслушать упрек, что во время своего посещения я (тогда еще новичок в журнальном деле) не позаботился о приглашении Чехова, как сотрудника.

В следующее свое посещение я уже заговорил с Чеховым об этом "деле", но еще раньше меня говорил с ним о том же А. Н. Плещеев, заехавший к нему проездом через Москву на Кавказ. Чехов сам рассказал мне об этом свидании, подтвердил обещание, данное Плещееву, но вместе с тем выразил некоторое колебание. По его словам, он начинал литературную работу почти шутя, смотрел на нее частью как на наслаждение и забаву, частью же как на средство для окончания университетского курса и содержания семьи {В то время он был уже врачом, хотя и без практики, а брат его, Михаил Павлович, начинал тоже печататься в юмористических журналах (под псевдонимом).}.

-- Знаете, как я пишу свои маленькие рассказы?.. Вот.

Он оглянул стол, взял в руки первую попавшуюся на глаза вещь,-- это оказалась пепельница, -- поставил ее передо мною и сказал:

-- Хотите,-- завтра будет рассказ... Заглавие "Пепельница".

И глаза его засветились весельем. Казалось, над пепельницей начинают уже роиться какие-то неопределенные образы, положения, приключения, еще не нашедшие своих форм, но уже с готовым юмористическим настроением...

Теперь, когда я вспоминаю этот разговор, небольшую гостиную, где за самоваром сидела старуха-мать, сочувственные улыбки сестры и брата, вообще всю атмосферу сплоченной, дружной семьи, в центре которой стоял этот молодой человек, обаятельный, талантливый, с таким, по-видимому, веселым взглядом на жизнь,-- мне кажется, что это была самая счастливая, последняя счастливая полоса в жизни всей семьи, -- радостная идиллия у порога готовой начаться драмы... В выражении лица и в манерах тогдашнего Чехова мне вспоминается какая-то двойственность: частью это был еще беззаботный Антоша Чехонте, веселый, удачливый, готовый посмеяться между прочим над "умным дворником", рекомендуя в кухне читать книги, и над парикмахером, который во время стрижки узнает, что его невеста выходит за другого, и потому оставляет голову клиента недостриженной... Образы теснились к нему веселой и легкой гурьбой, забавляя, но редко волнуя... Они наполняли уютную квартирку и, казалось, приходили в гости зараз ко всей семье. Сестра Антона Павловича рассказывала мне, что брат, комната которого отделялась от ее спальни тонкой перегородкой, часто стучал к ней ночью в стенку, чтобы поделиться темой, а иной раз готовым уже рассказом, внезапно возникшим в голове. И оба удивлялись и радовались неожиданным комбинациям... Но теперь в этом беззаботном настроении происходила заметная перемена: и сам Антон Павлович, и его семья не могли не заметить, что в руках Антоши не просто забавная и отчасти полезная для семьи игрушка, а великая драгоценность, обладание которой может оказаться очень ответственным. Кажется, в то время был уже напечатан (в "Нов. времени") очерк "Святою ночью", чудная картинка, проникнутая глубоко захватывающей, обаятельной грустью, еще примиряющей и здоровой, но уже, как небо от земли, удаленной от беспредметно смешливого настроения большинства "Пестрых рассказов". И в лице Чехова, недавнего беззаботного сотрудника "Осколков", проступало какое-то особенное выражение, которое в старину называли бы "первый ми отблесками славы"... Я помню, что в словах матери, видимо, счастливой и гордившейся успехом сына, звучали уже грустные ноты. Мы говорили с Антоном Павловичем о поездке в Петербург и о том, где мы там встретимся, и г-жа Чехова сказала со вздохом:

-- Да, мне кажется, что Антоша теперь уже не мой...

Как это часто бывает, у матери было верное предчувствие...

Мы условились встретиться в Петербурге в редакции "Осколков", где я действительно нашел Чехова в назначенный день, в кабинете редактора г. Лейкина. Здесь, между прочим, произошел небольшой инцидент: накануне г. Лейкин похвастался перед Чеховым прекрасным рассказом, присланным в "Осколки" неизвестным еще начинающим автором, помнится, из Царского Села. Редактор пришел в восторг и пригласил автора для личных переговоров, с целью привлечь его к журналу. Чехов захотел прочитать рукопись. Оказалось, однако, что это был просто-напросто один из его собственных очерков, старательно переписанный с печатного и подписанный неведомой фамилией. Лучший признак известности: плагиат уже, очевидно, оценил новое дарование и тянулся к нему, как чужеродное растение...

III

Через некоторое время первый журнальный рассказ А. П. Чехова был написан. Назывался он "Степь". Во время моего пребывания в Петербурге А. Н. Плещеев получил из Москвы письмо, в котором Чехов писал, что работа у него подвигается быстро. "Не знаю, что выйдет, но только чувствую, что вокруг меня пахнет степными цветами и травами", -- так приблизительно (цитирую на память) определял Чехов настроение этой своей работы, и это же, несомненно, чувствуется в чтении. На этом первом "большом" рассказе Чехова лежал еще, правда, отпечаток привычной ему формы. Некоторые критики отмечали, что "Степь" -- это как бы несколько маленьких картинок, вставленных в одну большую раму. Несомненно, однако, что эта большая рама заполнена одним и очень выдержанным настроением. Читатель как будто сам ощущает веяние свободного и могучего степного ветра, насыщенного ароматом цветов, сам следит за сверканием

в воздухе степной бабочки и за мечтательно-тяжелым полетом одинокой и хищной птицы, а все фигуры, нарисованные на этом фоне, тоже проникнуты оригинальным степным колоритом. Младший Чехов (Михаил Павлович) говорил мне вскоре после того, как рассказ появился в "Северном вестнике", что в нем очень много автобиографических личных воспоминаний.

Есть в нем, между прочим, одна подробность, которая казалась мне очень характерной для тогдашнего Чехова. В рассказе фигурирует Дениска, молодой крестьянский парень. Выступает он в роли кучера. Бричка с путниками останавливается в степи на привал в знойный, удушливый полдень. Горячие лучи жгут головы, откуда-то несется песня, "тихая, тягучая и заунывная, похожая на плач и едва уловимая слухом... Точно над степью носился невидимый дух и пел", или сама она, "выжженная, полумертвая, уже погибшая, без слов, но жалобно и искренно убеждала кого-то, что она ни в чем не виновата, что солнце выжгло ее понапрасну... вины не было, но она все-таки просила у кого-то прощения и клялась, что ей невыносимо больно, грустно и жалко себя"... В это время Дениска просыпается первым из отдыхающих путников. Он подходит к ручью, пьет, аппетитно умывается, плескаясь и фыркая. Несмотря на зной, на тоскливый пейзаж, на еще более тоскливую песню, неизвестно откуда несущуюся и говорящую о неизвестной вине, Дениска переполнен ощущением бодрости и силы.

-- А ну, кто скорее доскачет до осоки, -- говорит он Егорушке, главному герою рассказа, и не только одерживает победу над усталым от зноя Егорушкой, но, не довольствуясь этим, предлагает тотчас же скакать обратно.

Я как-то шутя сказал Чехову, что он сам похож на своего Дениску. И действительно, в самый разгар восьмидесятых годов, когда общественная жизнь так похожа была на эту степь с ее безмолвной истомой и тоскливой песнью, он явился, беззаботный, веселый, с избытком бодрости и силы. То и дело у него неизвестно откуда являлись разные проекты и притом как-то сразу, в готовом виде, с мелкими деталями... Однажды он стал развивать передо мною план журнала, в котором будут участвовать беллетристы, числом двадцать пять, "и все начинающие, вообще молодые". В другой раз, устремив на меня свои прекрасные глаза с выражением внезапно созревающей мысли, он сказал:

-- Слушайте, Короленко... Я приеду к вам в Нижний.

-- Буду очень рад. Смотрите же -- не обманите.

-- Непременно приеду... Будем вместе работать. Напишем драму. В четырех действиях. В две недели.

Я засмеялся. Это был опять Дениска.

-- Нет, Антон Павлович. Мне за вами не ускакать. Драму вы пишете один, а в Нижний все-таки приезжайте.

IV

Он сдержал слово, приехал в Нижний и очаровал всех, кто его в это время видел. А в следующий свой приезд в Москву я застал его уже за писанием драмы. Он вышел из своего рабочего кабинета, но удержал меня за руку, когда я, не желая мешать, собрался уходить.

-- Я действительно пишу и непременно напишу драму,-- сказал он,-- "Иван Иванович Иванов"... Понимаете? Ивановых тысячи... обыкновеннейший человек, совсем не герой... И это именно очень трудно... Бывает ли у вас так: во время работы, между двумя эпизодами, которые видишь ясно в воображении, -- вдруг пустота...

-- Через которую,-- сказал я,-- приходится строить мостки уже не воображением, а логикой?..

-- Вот, вот...

-- Да, бывает, но я тогда бросаю работу и жду.

-- Да, а вот в драме без этих мостков не обойдешься...

Он казался несколько рассеянным, недовольным и как будто утомленным. Действительно, первая драма далась Чехову трудно и повлекла за собою первые же серьезные чисто литературные волнения и огорчения. Не говоря о заботах сценической постановки, о терзаниях автора, видящего, как далеко слово от образа, а театральное исполнение от слова, -- в этой драме впервые сказались перелом в настроении Чехова. Я помню, как много писали и говорили о некоторых беспечных выражениях Иванова, напр., о фразе: "друг мой, послушайте моего совета: не женитесь

ни на еврейках, ни на психопатках, ни на курсистках". Правда, это говорит Иванов, но русская жизнь так болезненно чутка к некоторым наболевшим вопросам, что публика не хотела отделить автора от героя; да, сказать правду, в "Иванове" не было той непосредственности и беззаботной объективности, какая сквозила в прежних произведениях Чехова. Драма русской жизни захватывала в свой широкий водоворот вышедшего на ее арену писателя: в его произведении чувствовалось невольное веяние какой-то тенденции, чувствовалось, что автор на что-то нападает и что-то защищает, и спор шел о том, что именно он защищает и на что нападает. Вообще, эта первая драма, которую Чехов переделывал несколько раз, может дать ценный материал для вдумчивого биографа, который пожелает проследить историю душевного перелома, приведшего Чехова от "Нового времени", в котором он охотно писал вначале и куда не давал ни строчки в последние годы,-- в "Русские ведомости", в "Жизнь" и в "Русскую мысль"... Беззаботная непосредственность роковым образом кончалась, начиналась тоже роковым образом рефлексия и тяжелое сознание ответственности таланта {Драма "Иванов" была напечатана в "Северном вестнике" (март 1889 г.)}.

Следующий за "Степью" рассказ "Именины" был тоже напечатан в "Северном вестнике". За ним следовал третий ("Огни")... Его настроение значительно усложнялось, а пожалуй, и омрачалось несколько циничными, но еще более грустно-скептическими нотами, и Чехов в переписке несколько раз выражает недовольство этим рассказом. Остальное памятно, без сомнения, всей читающей России. За "Пестрыми рассказами" последовал сборник с характерным названием: "В сумерках". Затем "Хмурые люди"; затем в "Русской мысли" появилась "Палата No 6-й",-- произведение поразительное по захватывающей силе и глубине, с каким выражено в нем новое настроение Чехова, которое я назвал бы настроением второго периода. Оно совершенно определилось, и всем стала ясна неожиданная перемена: человек, еще так недавно подходивший к жизни с радостным смехом и шуткой, беззаботно веселый и остроумный, при более пристальном взгляде в глубину жизни неожиданно почувствовал себя пессимистом. К третьему периоду я бы отнес рассказы, а пожалуй, и драмы последних годов, в которых звучит и стремление к лучшему, и вера в него, и надежда. Через дымку грусти, порой очень красивой, порой разъедающей и острой и всегда поэтической, эта надежда сквозит, как куполы церквей дальнего города, едва видные сквозь знойную пыль и удушливый туман трудного пути... И над всем царит меланхолическое сознание:

Жаль только: жить в эту пору прекрасную

Уж не придется ни мне, ни тебе...

V

После этих первых встреч, довольно частых в начале нашего знакомства, мы виделись с Чеховым все реже и реже. Наши литературные связи и симпатии (я говорю о личных связях и симпатиях в литературной среде) в конце 80-х и начале 90-х годов были различны, и выходило так, что они перекрещивались редко также и впоследствии, когда он сошелся с родственными и мне литературными кругами. Я тогда же (т. е. в конце 80-х годов) сделал было попытку свести Чехова с Михайловским и Успенским. Мы вместе с ним отправились в назначенный час в Пале-Рояль, где тогда жил Михайловский и где мы уже застали Глеба Ивановича Успенского и Александру Аркадьевну Давыдову (впоследствии издательницу журнала "Мир божий"). Но из этого как-то ничего не вышло. Глеб Иванович сдержанно молчал (тогда у него начинали уже появляться признаки сильной душевной усталости и, пожалуй, предвестники болезни). Михайловский один поддерживал разговор, и даже Александра Аркадьевна,-- человек вообще необыкновенно деликатный и тактичный,-- задела тогда Чехова каким-то резким замечанием относительно одного из тогдашних его литературных друзей. Когда Чехов ушел, я почувствовал, что попытка не удалась. Глеб Иванович, с которым мы вместе вышли от Михайловского, заметил, с своей обычной чуткостью, что я огорчен, и сказал:

-- Вы любите Чехова?

Я попытался изобразить то чувство, которое у меня было к Чехову, и то впечатление, какое он на меня производит. Он слушал с обычным своим задумчивым вниманием и сказал:

-- Это хорошо...-- но сам остался сдержанным. Теперь я понимаю, что веселость тогдашнего Чехова, автора "Пестрых рассказов" -- была чужда и неприятна Успенскому. Сам он когда-то был

полон глубокого и своеобразного юмора, острота которого очень рано перешла в горечь. Михайловский чрезвычайно верно и чрезвычайно метко обрисовал в статье об Успенском ту целомудренную сдержанность, с какой он сознательно обуздывал свою склонность к смешным положениям и юмористическим образам из боязни, профанировать скорбные мотивы злополучной русской действительности. Хорошо это или плохо,-- я здесь рассуждать не буду. Думаю, конечно, что было бы превосходно, если бы люди с такими природными залежами смеха в душе находили в себе и в окружающей атмосфере достаточно силы, чтобы победить великое уныние русской жизни своим еще более сильным смехом. Тогда мы имели бы, может быть, мировые шедевры сатирической литературы... Но... мечтать можно о чем угодно, а факт все-таки состоит в том, что современное русское уныние само побеждает русский юмор, и это с неизбежностью рокового закона отразилось -- к сожалению, даже слишком скоро -- на самом Чехове.

Но в то время еще было иначе, и я помню, с каким скорбным недоумением и как пылливо глубокие глаза Успенского останавливались на открытом жизнерадостном лице этого талантливого выходца из какого-то другого мира, где еще могут смеяться так беззаботно. Чехов тоже инстинктивно сторонился от назревшего уже в Успенском настроения, которое сторожило его самого,-- и они разошлись несколько холодно, пожалуй, с безотчетным нерасположением друг к другу.

Теперь нет уже обоих. Успенский умер раньше, могила Чехова еще не закрылась, когда я пишу эти строки... Но оба сошли со сцены с надеждой на будущее и со жгучей скорбью о настоящем.

Вспоминается мне еще один разговор с Чеховым о Гаршине. Не помню, было ли это после смерти Гаршина или под конец его омраченной жизни... Я недавно вернулся из Сибири, и во мне еще были живы и свежи глубокие впечатления от ее величаво-угрюмой природы и ее людей. И мне казалось, что если бы можно было отвлечь Гаршина от мучительных впечатлений нашей действительности, удалить на время от литературы и политики, а главное -- снять с усталой души то сознание общей ответственности, которое так угнетает русского человека с чуткой совестью... если бы взамен этого поставить его лицом к лицу только с первобытной природой и первобытным человеком,-- то, думалось мне, больная душа могла бы еще расправиться. Но Чехов возразил с категоричностью врача:

-- Нет, это дело непоправимое: раздвинулись какие-то молекулярные частицы в мозгу, и уж ничем их не сдвинешь...

Впоследствии мне часто вспоминались эти слова. Через год-два "раздвинулись частицы" у Успенского и, сколько ни искал он исцеления во "врачующем просторе" родины, как ни метался по степям и ущельям Южного Урала, по горным хребтам Кавказа, по Волге и "захолустным рекам" средней России,-- ему не удалось стряхнуть все глубже въедавшейся в душу тоски, как и сознания "общей ответственности" перед правдой жизни за все ее неправды. А затем "раздвинулись частицы" и у Чехова. Правда, это были частицы легких, а не мозга, ясность которого он сохранил до конца. Но кто скажет, какую роль в физической болезни играла та глубокая разъедающая грусть, на фоне которой совершались у Чехова все душевные, а значит, и физические процессы...

Мои встречи с Чеховым во второй половине 90-х годов уже были не часты и случайны. В период уже определившейся болезни мы встретились только три-четыре раза. Один раз это было в 1897 г., в редакции "Русской мысли". В то время я тоже был болен. Чехов расспрашивал меня со вниманием товарища и врача и, выйдя из редакции, на улице задумчиво пожал мне руку и сказал:

-- Ничего... вы поправитесь, уверяю вас,-- вы поправитесь.

-- И вы тоже поправитесь, Антон Павлович!-- сказал я с верой, истекавшей из сильного желания верить.

-- Да, да, надеюсь... Мне и теперь лучше,-- ответил он, и мы расстались.

В последний раз я видел его в 1902 г. в Ялте, куда я приехал для разговора об одном общем заявлении. Чехов написал мне, что хочет заехать в Полтаву, и я предупредил его, зная, как ему это трудно. Он жил на своей даче, которую построил (по-художнически непрактично) под Ялтой;

с ним жили сестра и жена. Как и в первую нашу встречу, сестра Чехова встретила меня внизу, как и тогда, Чехов спустился по лестнице сверху. У меня сжалось сердце при этом воспоминании. Это был тот же Чехов, но куда девалась его уверенная, спокойная жизнерадостность? Черты обострились, стали как будто жестче, и только глаза все еще порой лучились и ласкали. Но и в них чаще виднелось застывшее выражение грусти. Сестра рассказывала, что по временам он сидит целые часы, глядя в одну точку. Во время разговора он взял лежавшую на столе книгу, недавно рекомендованную русскому читателю Л. Н. Толстым.

-- Поленца, "Крестьянин". Читали? Хорошая книга, -- сказал он.-- Вот если бы мне еще написать одну такую книгу... я считал бы, что этого довольно. Можно умереть.

Он умер раньше...

VI

И опять невольно приходит в голову сопоставление: Гоголь, Успенский, Щедрин, теперь -- Чехов. Этими именами почти исчерпывается ряд выдающихся русских писателей с сильно выраженным юмористическим темпераментом. Двое из них кончили прямо острой меланхолией, двое других беспросветной тоской. Пушкин называл Гоголя "веселым меланхоликом", и это меткое определение относится одинаково ко всем перечисленным писателям... Гоголь, Успенский, Щедрин и Чехов...

Неужели в русском смехе есть в самом деле что-то роковое? Неужели реакция прирожденного юмора на русскую действительность,-- употребляя терминологию химиков,-- неизбежно дает ядовитый осадок, разрушающий всего сильнее тот сосуд, в котором она совершается, то есть душу писателя?..

1904

М. Горький

А. П. Чехов

Однажды он позвал меня к себе в деревню Кучук-Кой, где у него был маленький клочок земли и белый двухэтажный домик. Там, показывая мне свое "имение", он оживленно заговорил:

-- Если бы у меня было много денег, я устроил бы здесь санаторий для больных сельских учителей. Знаете, я выстроил бы такое светлое здание -- очень светлое, с большими окнами и с высокими потолками. У меня была бы прекрасная библиотека, разные музыкальные инструменты, пчельник, огород, фруктовый сад; можно было бы читать лекции по агрономии, метеорологии, учителю нужно все знать, батенька, все!

Он вдруг замолчал, кашлянул, посмотрел на меня сбоку и улыбнулся своей мягкой, милой улыбкой, которая всегда так неотразимо влекла к нему и возбуждала особенное острое внимание к его словам.

-- Вам скучно слушать мои фантазии? А я люблю говорить об этом. Если б вы знали, как необходим русской деревне хороший, умный, образованный учитель! У нас в России его необходимо поставить в какие-то особенные условия, и это нужно сделать скорее, если мы понимаем, что без широкого образования народа государство развалится, как дом, сложенный из плохо обожженного кирпича! Учитель должен быть артист, художник, горячо влюбленный в свое дело, а у нас -- это чернорабочий, плохо образованный человек, который идет учить ребят в деревню с такой же охотой, с какой пошел бы в ссылку. Он голоден, забит, запуган возможностью потерять кусок хлеба. А нужно, чтобы он был первым человеком в деревне, чтобы он мог ответить мужику на все его вопросы, чтобы мужики признавали в нем силу, достойную внимания и уважения, чтобы никто не смел орать на него... унижать его личность, как это делают у нас все: урядник, богатый лавочник, поп, становой, попечитель школы, старшина и тот чиновник, который носит звание инспектора школ, но заботится не о лучшей постановке образования, а только о тщательном исполнении циркуляров округа. Нелепо же платить гроши человеку, который призван воспитывать народ, -- вы понимаете? -- воспитывать народ! Нельзя же допускать, чтоб этот человек ходил в лохмотьях, дрожал от холода в сырых, дырявых школах, угорал, простужался, наживал себе к тридцати годам ларингит, ревматизм, туберкулез... ведь это же стыдно нам! Наш учитель восемь-девять месяцев в году живет как отшельник, ему не с кем сказать слова, он тупеет в одиночестве, без книг, без развлечений. А созовет он к себе товарищей -- его обвинят в неблагонадежности, -- глупое слово, которым хитрые люди пугают дураков!.. Отвратительно все это... какое-то издевательство над человеком, который делает большую, страшно важную работу. Знаете, -- когда я вижу учителя, -- мне делается неловко перед ним за его робость и за то, что он плохо одет, мне кажется, что в этом убожестве учителя и сам я чем-то виноват... серьезно!

Он замолчал, задумался и, махнув рукой, тихо сказал:

-- Такая нелепая, неуклюжая страна -- эта наша Россия.

Тень глубокой грусти покрыла его славные глаза, тонкие лучи морщин окружили их, углубляя его взгляд. Он посмотрел вокруг и пошутил над собой:

-- Видите, -- целую передовую статью из либеральной газеты я вам закатил. Пойдемте -- чаю дам, за то, что вы такой терпеливый...

Это часто бывало у него -- говорит так тепло, серьезно, искренно и вдруг усмехнется над собой и над речью своей, и в этой мягкой, грустной усмешке чувствовался тонкий скептицизм человека, знающего цену слов, цену мечтаний. И еще в этой усмешке сквозила милая скромность, чуткая деликатность...

Мы тихонько и молча пошли в дом. Тогда был ясный, жаркий день; играя яркими лучами солнца, шумели волны; под горой ласково повизгивала, чем-то довольная, собака. Чехов взял меня под руку и, покашливая, медленно проговорил:

-- Это стыдно и грустно, а верно: есть множество людей, которые завидуют собакам...

И тотчас же, засмеявшись, добавил:

-- Я сегодня говорю все дряхлые слова... значит, -- старею!

-- -- --

Мне очень часто приходилось слышать от него:

-- Тут, знаете, один учитель приехал... больной, женат,-- у вас нет возможности помочь ему? Пока я его уже устроил...

Или:

-- Слушайте, Горький, -- тут один учитель хочет познакомиться с вами. Он не выходит, болен. Вы бы сходили к нему -- хорошо?

Или:

-- Вот учительницы просят прислать книг...

Иногда я заставал у него этого "учителя": обыкновенно учитель, красный от сознания своей неловкости, сидел на краешке стула и в поте лица подбирал слова, стараясь говорить глаже и "образованнее", или, с развязностью болезненно застенчивого человека, весь сосредоточивался на желании не показаться глупым в глазах писателя и осыпал Антона Павловича градом вопросов, которые едва ли приходили ему в голову до этого момента.

Антон Павлович внимательно слушал нескладную речь; в его грустных глазах поблескивала улыбка, вздрагивали морщинки на висках, и вот своим глубоким, мягким, точно матовым голосом он сам начинал говорить простые, ясные, близкие к жизни слова, -- слова, которые как-то сразу упрощали собеседника: он переставал стараться быть умником, отчего сразу становился и умнее, и интереснее...

Помню, один учитель -- высокий, худой, с желтым, голодным лицом и длинным горбатым носом, меланхолично загнутым к подбородку, сидел против Антона Павловича и, неподвижно глядя в лицо ему черными глазами, угрюмо басом говорил:

-- Из подобных впечатлений бытия на протяжении педагогического сезона образуется такой психический конгломерат, который абсолютно подавляет всякую возможность объективного отношения к окружающему миру. Конечно, мир есть не что иное, как только наше представление о нем...

Тут он пустился в область философии и зашагал по ней, напоминая пьяного на льду.

-- А скажите, -- негромко и ласково спросил Чехов, -- кто это в вашем уезде бьет ребят?

Учитель вскочил со стула и возмущенно замахал руками:

-- Что вы! Я? Никогда! Бить?

И обиженно зафыркал.

-- Вы не волнуйтесь, -- продолжал Антон Павлович, успокоительно улыбаясь, -- разве я говорю про вас? Не я помню -- читал в газетах -- кто-то бьет, именно в вашем уезде...

Учитель сел, вытер вспотевшее лицо и, облегченно вздохнув, глухим басом заговорил:

-- Верно! Был один случай. Это -- Макаров. Знаете -- не удивительно! Дико, но -- объяснимо. Женат он -- четверо детей, жена больная, сам тоже -- в чахотке. Жалованье -- 20 рублей, а школа -- погреб и учителю -- одна комната. При таких условиях -- ангела божия поколотишь безо всякой вины, а ученики -- они далеко не ангелы, уж поверьте!

И этот человек, только что безжалостно поражавший Чехова своим запасом умных слов, вдруг, зловеще покачивая горбатым носом, заговорил простыми, тяжелыми, точно камни, словами, ярко освещая проклятую, грозную правду той жизни, которой живет русская деревня...

Прощаясь с хозяином, учитель взял обеими руками его небольшую сухую руку с тонкими пальцами и, потрясая ее, сказал:

-- Шел я к вам, будто к начальству, -- с робостью и дрожью, надулся как индейский петух, хотел показать вам, что, мол, и я не лыком шит... а ухожу вот -- как от хорошего, близкого человека, который все понимает. Великое это дело -- все понимать! Спасибо вам! Иду. Уношу с собой хорошую, добрую мысль: крупные-то люди проще и понятливее, и ближе душой к нашему брату, чем все эти мизеры, среди которых мы живем. Прощайте! Никогда я не забуду вас...

Нос у него вздрогнул, губы сложились в добрую улыбку, и он неожиданно добавил:

-- А собственно говоря, и подлецы -- тоже несчастные люди -- чорт их возьми!

Когда он ушел, Антон Павлович посмотрел вслед ему, усмехнулся и сказал:

-- Хороший парень. Недолго проучит...

-- Почему?

-- Затравят... прогонят...

Подумав, он добавил негромко и мягко:

-- В России честный человек -- что-то вроде трубочиста, которым няньки пугают маленьких детей...

- - - -

Мне кажется, что всякий человек при Антоне Павловиче невольно ощущал в себе желание быть проще, правдивее, быть более самим собой, и я не раз наблюдал, как люди сбрасывали с себя пестрые наряды книжных фраз, модных слов и все прочие дешевенькие штучки, которыми русский человек, желая изобразить европейца, украшает себя, как дикарь раковинами и рыбьими зубами. Антон Павлович не любил рыбы зубы и петушиные перья; все пестрое, гремящее и чужое, надетое человеком на себя для "пущей важности", вызывало в нем смущение, и я замечал, что каждый раз, когда он видел перед собой разряженного человека, им овладевало желание освободить его от всей этой тягостной и ненужной мишуры, искажавшей настоящее лицо и живую душу собеседника. Всю жизнь А. Чехов прожил на средства своей души, всегда он был самим собой, был внутренне свободен и никогда не считался с тем, чего одни -- ожидали от Антона Чехова, другие, более грубые, -- требовали. Он не любил

разговоров на "высокие" темы, -- разговоров, которыми этот милый русский человек так усердно потешает себя, забывая, что смешно, но совсем не остроумно рассуждать о бархатных костюмах в будущем, не имея в настоящем даже приличных штанов.

Красиво простой, он любил все простое, настоящее, искреннее, и у него была своеобразная манера опрощать людей.

Однажды его посетили три пышно одетые дамы, наполнив его комнату шумом шелковых юбок и запахом крепких духов, они чинно уселись против хозяина, притворились, будто бы их очень интересует политика, и -- начали "ставить вопросы".

-- Антон Павлович! А как вы думаете, чем кончится война?

Антон Павлович покашлял, подумал и мягко, тоном серьезным, ласковым ответил:

-- Вероятно,-- миром...

-- Ну, да, конечно! -- Но кто же победит? Греки или турки?

-- Мне кажется, -- победят те, которые сильнее...

-- А кто, по-вашему, сильнее? -- наперебой спрашивали дамы.

-- Те, которые лучше питаются и более образованны...

-- Ах, как это остроумно! -- воскликнула одна.

-- А кого вы больше любите -- греков или турок? -- спросила другая.

Антон Павлович ласково посмотрел на нее и ответил с кроткой, любезной улыбкой:

-- Я люблю -- мармелад... -- а вы любите?

-- Очень! -- воскликнула дама.

-- Он такой ароматный! -- солидно подтвердила другая.

И все три оживленно заговорили, обнаруживая по вопросу о мармеладе прекрасную эрудицию и тонкое знание предмета. Было очевидно -- они очень довольны тем, что не нужно напрягать ум и притворяться серьезно заинтересованными турками и греками, о которых они до этой поры и не думали.

Уходя, они весело обещали Антону Павловичу:

-- Мы пришлем вам мармеладу!

-- Вы славно беседовали! -- заметил я, когда они ушли.

Антон Павлович тихо рассмеялся и сказал: -- Нужно, чтоб каждый человек говорил своим языком...

Другой раз я застал у него молодого, красивенького товарища прокурора. Он стоял перед Чеховым и, потряхивая кудрявой головой, бойко говорил:

-- Рассказом "Злоумышленник" вы, Антон Павлович, ставите предо мной крайне сложный вопрос. Если я признаю в Денисе Григорьеве наличность злой воли, действовавшей сознательно, я должен, без оговорок, упечь Дениса в тюрьму, как этого требуют интересы общества. Но он дикарь, он не сознавал преступности деяния, мне его жалко! Если же я отнесусь к нему, как к субъекту, действовавшему без разумения, и поддамся чувству сострадания, -- чем я гарантирую обществу, что Денис вновь не отвинтит гайки на рельсах и не устроит крушения? Вот вопрос! Как же быть?

Он замолчал, откинул корпус назад и уставился в лицо Антону Павловичу испытующим взглядом. Мундирчик на нем был новенький, и пуговицы на груди блестели так же самоуверенно и тупо, как глазки на чистеньком личике юного ревнителя правосудия.

-- Если б я был судьей, -- серьезно сказал Антон Павлович, -- я бы оправдал Дениса...

-- На каком основании?

-- Я сказал бы ему: ты, Денис, еще не дозрел до типа сознательного преступника, ступай -- и дозрей!

Юрист засмеялся, но тотчас же вновь стал торжественно серьезен и продолжал:

-- Нет, уважаемый Антон Павлович, -- вопрос, поставленный вами, может быть разрешен только в интересах общества, жизнь и собственность которого я призван охранять. Денис -- дикарь, да, но он -- преступник, вот истина!

-- Вам нравится граммофон? -- вдруг ласково спросил Антон Павлович.

-- О, да! Очень! Изумительное изобретение! -- живо отозвался юноша.

-- А я терпеть не могу граммофонов! -- грустно сознался Антон Павлович.

-- Почему?

-- Да они же говорят и поют, ничего не чувствуя. И все у них карикатурно выходит, мертво... А фотографией вы не занимаетесь?

Оказалось, что юрист страстный поклонник фотографии; он тотчас же с увлечением заговорил о ней, совершенно не интересуясь граммофоном, несмотря на свое сходство с этим "изумительным изобретением", тонко и верно подмеченное Чеховым. Снова я видел, как из мундира выглянул живой и довольно забавный человек, который пока еще чувствовал себя в жизни, как щенок на охоте.

Проводив юношу, Антон Павлович угрюмо сказал:

-- Вот такие прыщи... на сиденьи правосудия -- распоряжаются судьбой людей, И, помолчав, добавил:

-- Прокуроры очень любят удить рыбу. Особенно -- ершей!

-- -- --

Он обладал искусством всюду находить и оттенять пошлость, искусством, которое доступно только человеку высоких требований к жизни, которое создается лишь горячим желанием видеть людей простыми, красивыми, гармоничными. Пошлость всегда находила в нем жестокого и строгого судью.

Кто-то рассказывал при нем, что издатель популярного журнала, человек, постоянно рассуждающий о необходимости любви и милосердия к людям -- совершенно неосновательно оскорбил кондуктора на железной дороге и что вообще этот человек крайне грубо обращается с людьми, зависимыми от него.

-- Ну, еще бы, -- сказал Антон Павлович, хмуро усмехаясь, -- ведь он же аристократ, образованный... он же в семинарии учился. Отец его в лаптях ходил, а он носит лаковые ботинки...

И в тоне этих слов было что-то, что сразу сделало "аристократа" ничтожным и смешным.

-- Очень талантливый человек, -- говорил он об одном журналисте. -- Пишет всегда так благородно, гуманно... лимонадно. Жену свою ругает при людях дурой. Комната для прислуги у него сырая, и горничные постоянно наживают ревматизм...

-- Вам, Антон Павлович, нравится NN?

-- Да... очень. Приятный человек, -- покашливая, соглашается Антон Павлович. -- Все знает. Читает много. У меня три книги зачитал. Рассеянный он, сегодня скажет вам, что вы чудесный человек, а завтра кому-нибудь сообщит, что вы у мужа вашей любовницы шелковые носки украли, черные, с синими полосками...

Кто-то при нем жаловался на скуку и тяжесть "серьезных" отделов в толстых журналах.

-- А вы не читайте этих статей, -- убежденно посоветовал Антон Павлович. -- Это же дружеская литература... литература приятелей. Ее сочиняют гг. Краснов, Чернов и Белов. Один напишет статью, другой возразит, а третий примиряет противоречия первых. Похоже, как будто они в винт с болваном играют. А зачем все это нужно читателю, -- никто из них себя не спрашивает.

Однажды пришла к нему какая-то полная дама, здоровая, красивая, красиво одетая и начала говорить "под Чехова":

-- Скучно жить, Антон Павлович! Все так серо: люди, небо, море, даже цветы кажутся мне серыми. И нет желаний... душа в тоске. Точно какая-то болезнь...

-- Это -- болезнь! -- убежденно сказал Антон Павлович. -- Это болезнь. Поллатыни она называется *morbus pritvorialis*.

Дама, к ее счастью, видимо, не знала по-латыни, а может быть скрыла, что знает.

-- Критики похожи на слепней, которые мешают лошади пахать землю, -- говорил он, усмехаясь своей умной усмешкой. -- Лошадь работает, все мускулы натянуты, как струны на контрабасе, а тут на крупе садится слепень и щекочет, и жужжит. Нужно встряхивать кожу и махать хвостом. О чем он жужжит? Едва ли ему понятно это. Просто -- характер у него беспокойный и заявить о себе хочется, -- мол, тоже на земле живу! вот видите, -- могу даже жужжать, обо всем могу жужжать! Я двадцать пять лет читаю критики на мои рассказы, и ни одного ценного указания не помню, ни одного доброго совета не слышал. Только однажды Скабичевский произвел на меня впечатление, он написал, что я умру в пьяном виде под забором...

В его серых, грустных глазах почти всегда мягко искрилась тонкая насмешка, но порой эти глаза становились холодны, остры и жестки; в такие минуты его гибкий, задушевный голос звучал тверже, и тогда -- мне казалось, что этот скромный, мягкий человек, если он найдет нужным, может встать против враждебной ему силы крепко, твердо и не уступит ей.

Порою же казалось мне, -- что в его отношении к людям было чувство какой-то безнадежности, близкое к холодному, тихому отчаянию.

-- Странное существо -- русский человек! -- сказал он однажды. -- В нем, как в решете, ничего не задерживается. В юности он жадно наполняет душу всем, что под руки попало, а после тридцати лет в нем остается какой-то серый хлам. Чтобы хорошо жить по-человечески -- надо же работать! Работать с любовью, с верой. А у нас не умеют этого. Архитектор, выстроив два-три приличных дома, садится играть в карты, играет всю жизнь или же торчит за кулисами театра. Доктор, если он имеет практику, перестает следить за наукой, ничего, кроме "Новостей терапии", не читает и серьезно убежден, что все болезни -- простудного происхождения. Я не встречал ни одного чиновника, который хоть немного понимал бы значение своей работы: обыкновенно он сидит в столице или губернском городе, сочиняет бумаги и посылает их в Змиев и Сморгонь для исполнения. А кого эти бумаги лишат свободы движений в Змиеве и Сморгони -- об этом чиновник думает так же мало, как атеист о мучениях ада. Сделав себе имя удачной защитой, адвокат уже перестает заботиться о защите правды, а защищает только право собственности, играет на скачках, ест устриц и изображает собой тонкого знатока всех искусств. Актер, сыгравши сносно две-три роли, уже не учит больше ролей, а надевает цилиндр и думает, что он гений. Вся Россия -- страна каких-

то жадных и ленивых людей: они ужасно много едят, пьют, любят спать днем и во сне храпят. Женятся они для порядка в доме, а любовниц заводят для престижа в обществе. Психология у них -- собачья: бьют их -- они тихонько повизгивают и прячутся по своим конурам, ласкают -- они ложатся на спину, лапки кверху и виляют хвостиками...

Тоскливое и холодное презрение звучало в этих словах. Но, презирая, он сожалел, и когда, бывало, при нем ругнешь кого-нибудь, Антон Павлович сейчас же вступится:

-- Ну, зачем вы? Он же старик, ему семьдесят лет...

Или:

-- Он же ведь еще молодой, это же по глупости...

И когда он говорил так, -- я не видел на его лице брезгливости...

-- -- --

В юности пошлость кажется только забавной и ничтожной, понемногу она окружает человека своим серым туманом, пропитывает мозг и кровь его, как яд и угар, и человек становится похож на старую вывеску, изъеденную ржавчиной: как будто что-то изображено на ней, а что? -- не разберешь.

Антон Чехов уже в первых рассказах своих умел открыть в тусклом море пошлости ее трагически-мрачные шутки: стоит только внимательно прочитать его "юмористические" рассказы, чтобы убедиться, как много за смешными словами и положениями -- жестокого и противного скорбно видел и стыдливо скрывал автор.

Он был как-то целомудренно скромн, он не позволял себе громко и открыто сказать людям:

-- Да будьте же вы... порядочнее! -- тщетно надеясь, что они сами догадаются о настоящей необходимости для них быть порядочнее. Ненавидя все пошлое и грязное, он описывал мерзости жизни благородным языком поэта, с мягкой усмешкой юмориста, а за прекрасной внешностью его рассказов мало заметен полный горького упрека их внутренний смысл.

Почтеннейшая публика, читая "Дочь Альбиона", смеется и едва ли видит в этом рассказе; гнуснейшее издевательство сытого барина над человеком одиноким, всему и всем чужим. И в каждом из юмористических рассказов Антона Павловича я слышу тихий, глубокий вздох чистого, истинно-человеческого сердца, безнадежный вздох сострадания к людям, которые не умеют уважать свое; человеческое достоинство и, без сопротивления подчиняясь грубой силе, живут, как рабы, ни во что не верят, кроме необходимости каждый день хлебать возможно более жирные щи, и ничего не чувствуют, кроме страха, как бы кто-нибудь сильный и наглый не побил их.

Никто не понимал так ясно и тонко, как Антон Чехов, трагизм мелочей жизни, никто до него ни умел так беспощадно правдиво нарисовать людям позорную и тоскливую картину их жизни в тусклом хаосе мещанской обыденщины.

Его врагом была пошлость; он всю жизнь боролся с ней, ее он осмеивал и ее изображал бесстрашным острым пером, умея найти плесень пошлости даже там, где; с первого взгляда, казалось, все устроено очень хорошо, удобно, даже -- с блеском...

И пошлость за это отомстила ему скверненькой выходкой, положив его труп -- труп поэта -- в вагон для перевозки "устриц".

Грязно-зеленое пятно этого вагона кажется мне именно огромной, торжествующей улыбкой пошлости над уставшим врагом, а бесчисленные "воспоминания" улич-

ных газет -- лицемерной грустью, за которой я чувствую холодное, пахучее дыхание все той же пошлости, втайне довольной смертью врага своего.

-- -- --

Читая рассказы Антона Чехова, чувствуешь себя точно в грустный день поздней осени, когда воздух так прозрачен и в нем резко очерчены голые деревья, тесные дома, серенькие люди. Все так странно -- одиноко, неподвижно и бессильно. Углубленные синие дали -- пустынные, и, сливаясь с бледным небом, дышат тоскливым холодом на землю, покрытую мерзлой грязью. Ум автора, как осеннее солнце, с жестокой ясностью освещает избитые дороги, кривые улицы, тесные и грязные дома, в которых задыхаются от скуки и лени маленькие жалкие люди, наполняя дома свои неосмысленной, полусонной суетой. Вот тревожно, как серая мышь, шмыгает "душечка" -- милая, кроткая женщина, которая так рабски, так много умеет любить. Ее можно ударить по щеке, и она даже застонать громко не посмеет, кроткая раба. Рядом с ней грустно стоит Ольга из "Трех сестер": она тоже много любит и безропотно подчиняется капризам развратной и пошлой жены своего лентяя-брата, на ее глазах ломается жизнь ее сестер, а она плачет и никому ничем не может помочь, и ни одного живого, сильного слова протеста против пошлости нет в ее груди.

Вот слезоточивая Раневская и другие бывшие хозяйева "Вишневого сада", -- эгоистичные, как дети, и дряблые, как старики. Они опоздали во-время умереть и ноют, ничего не видя вокруг себя, ничего не понимая, -- паразиты, лишенные сил снова присосаться к жизни. Дрянненький студент Трофимов красиво говорит о необходимости работать и -- бездельничает, от скуки развлекаясь глупым издевательством над Варей, работающей не покладая рук для благополучия бездельников.

Вершинин мечтает о том, как хороша будет жизнь через триста лет, и живет, не замечая, что около него все разлагается, что на его глазах Соленый от скуки и по глупости готов убить жалкого барона Тузенбаха.

Проходит перед глазами бесчисленная вереница рабов и рабынь своей любви, своей глупости и лени, своей жадности к благам земли; идут рабы темного страха пред жизнью, идут в смутной тревоге и наполняют жизнь бессвязными речами о будущем, чувствуя, что в настоящем -- нет им места...

Иногда в их серой массе раздается выстрел, это Иванов или Треплев догадались, что им нужно сделать и -- умерли...

Многие из них красиво мечтают о том, как хороша будет жизнь через двести лет, и никому не приходит в голову простой вопрос: да кто же сделает еа хорошей, если мы будем только мечтать?

Мимо всей этой скучной, серой толпы бессильных людей прошел большой, умный, ко всему внимательный человек, посмотрел он на этих скучных жителей своей родины и с грустной улыбкой, тоном мягкого, но глубокого упрека, с безнадежной тоской на лице и в груди, красивым искренним голосом сказал:

-- Скверно вы живете, господа!